

**Анатолий Федорович Кони**

**Воспоминания о деле Веры  
Засулич**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3  
ББК 84-4  
А64

A64      **Анатолий Федорович Кони**  
Воспоминания о деле Веры Засулич / Анатолий Федорович Кони – М.: Книга по Требованию, 2012. – 166 с.

**ISBN 978-5-4241-1554-7**

"Воспоминания о деле Веры Засулич" написаны Анатолием Федоровичем Кони по дневникам, которые он вел с 1869 г., и закончены обработкой 1904 г

**ISBN 978-5-4241-1554-7**

© Издание на русском языке, оформление

«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,

«Книга по Требованию», 2012

Кони А Ф  
Воспоминания о деле Веры  
Засулич



А. Ф. Кони

## ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕЛЕ ВЕРЫ ЗАСУЛИЧ

Воспоминания о деле Веры Засулич публикуются по рукописи А. Ф. Кони. В рукописи отсутствует глава, освещавшая ход судебного процесса (отдел III). А. Ф. Кони считал необходимым написать такую главу, но ему не удалось это осуществить. Чтобы восполнить указанный пробел, в отделе III помещено "Резюме председателя А. Ф. Кони", а в приложениях дан ряд документов, относящихся к судебному процессу по делу. В. Засулич, в частности, речь обвинителя (товарища прокурора К. И. Кесселя), речь защитника (присяжного поверенного П. А. Александрова) и др.

### ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ

Шестого декабря 1876 г., прилегши отдохнуть перед обедом у себя в кабинете, в доме министерства юстиции, на Малой Садовой, я был вскоре разбужен горько-удушливым запахом дыма и величайшей суматохой, поднявшейся по всему огромному генерал-прокурорскому дому. Оказалось, что в канцелярии от неизвестной причины (день был воскресный) загорелись шкафы, и пламя проникло в верхний этаж. Горел пол в кабинете помощника правителя канцелярии Корфа<sup>20</sup> и начинал прогорать и у меня, в обширной пустой комнате, которая называлась у моего предместника по должности вице-директора А. А. Сабурова<sup>21</sup> "детской".

На внутренней лестнице толпились испуганные чиновники, курьеры; вскоре показались во всех углах пожарные, пришел встревоженный министр, граф Пален<sup>22</sup>, мелькнула фигура градоначальника Трепова. Опасность была устранена очень быстро. Пожарные действовали мастерски и Пален, в порыве великодушия, на казенный счет велел им выдать 1000 рублей серебром в счет скучных остатков по министерству юстиции за сметный год. Из этой же суммы было почерпнуто и пособие тоже в одну или полторы тысячи на поправление сгоревшего кабинета барона Корфа, хотя и до и после пожара кабинет неизменно состоял из двух-трех старых столов, дрянной сборной мебели и бесчисленного количества папироносных мундштучков всех форм и величин. Еще не утихли беготня и беспорядок в моих комнатах и на прилегающих лестницах, еще у меня в кухне старались привести в чувство захлебнувшегося дымом пожарного, как Пален прислал за мною, прося прибыть немедленно.

Я застал у него в кабинете: Трепова, прокурора палаты Фукса<sup>23</sup>, товарища прокурора Поскочина<sup>24</sup> и товарища министра Фриша<sup>25</sup>. Последний оживленно рассказывал, что, проходя час назад по Невскому, он был свидетелем демонстрации у Казанского собора, произведенной группой молодежи "нигилистического пошиба", которая была прекращена вмешательством полиции, принявшейся бить демонстрирующих... Ввиду несомненной важности такого факта в столице, среди бела дня, он поспешил в министерство и застал там пожар и Трепова, подтвердившего, что кучка молодых людей бесчинствовала и носила на руках какого-то мальчика, который помахивал знаменем с надписью: "Земля и воля". При этом Трепов рассказал, что все они арестованы, - один сопротивлявшийся был связан, - и некоторые, вероятно, были вооружены, так как на земле был найден револьвер. То же повторили Фукс и Поскочин, приступившие уже к политическому дознанию по закону 19 мая 1871 г.

Пален после обычных "охов" и "ахов", то заявляя, что надо зачем-то ехать

тотчас же к государю, то снова интересуясь подробностями, спросил, наконец, Фриша и меня, как мы думаем, что следует предпринять? Вопрос был серьезный. Министр был в нерешительности и подавлен непривычностью происшедшего события, а Трепов, который, конечно, в тот же день и, во всяком случае, не позже утра следующего дня стал бы докладывать государю и притом в том смысле, как бы на него повлияло совещание у министра юстиции, ждал и внимательно слушал. Революционная пропаганда впервые выходила на улицу, громко о себе заявляя, и сохранить по отношению к ней хладнокровие и спокойную законность значило проявить не слабость, а силу и дать камертон всем делам подобного рода на будущее время. Я ждал ответа Фриша с тревогой, зная по многократным прежним опытам, что для удержания Палена от необдуманного или поспешного и произвольного шага - на него надежда плохая. "Что делать?" - сказал Фриш, и, медленно оглянув всех своим холодным, стальным взглядом, он приподнял обе руки, сжал на них указательные и большие пальцы и, быстрым движением отдернув одну от другой книзу, как будто вытягивая шнурок, сделал выразительный щелчок языком... "Как? - невольно вырвалось у меня, - повесить? Да вы шутите?!" Не отвечая мне, он наклонил голову по направлению к Палену и сказал спокойно и решительно: "Это-единственное средство!" Прирожденная порядочность и сердечная доброта Фукса простила сквозь тину слепого усердия по политическим дознаниям, в которую он погрузился, к счастью, лишь на время, и он, растягивая слова и выражаясь по обыкновению запутанно, стал, однако, протестовать против такого взгляда. Пален взглянул на меня вопросительно, и я сказал, что для меня это дело так еще неясно, что даже и начатие дознания по закону 19 мая кажется мне преждевременным. То, что произошло на Казанской площади, представляется нарушением порядка на улице, по которому следует предоставить полиции произвести обыкновенное расследование. Если обнаружатся признаки политического преступления, то никогда не поздно передать дело жандармам. Все арестованы, вещественные доказательства взяты, следовательно, правосудие и безопасность ничего потерять не могут, а общественное спокойствие и достоинство власти только выигрывают, если дело не будет преждевременно раздуто до не свойственных ему размеров. Что же касается до взгляда Фриша, то я думаю, что он не говорит и не думает в данном случае серьезно... Фукс и Поскочин стали доказывать, что дознание уже начато, а Фриш холодно сказал:

"Я уже высказал свое мнение: оно основано на статье Уложения о наказаниях". Пален, видимо, не разделяя его мнения, опять поохал и поахал; по обыкновению, с детской злобой в лице, назвал участников демонстрации "мошенниками" и, ни на что не решившись, отпустил нас...

Этот день был во многих отношениях роковым для многих из нас, и, в сущности, из всех связанных с ним последующих событий один лишь Фриш выбрался благополучно. И вот ирония судьбы: Фуксу, смущившемуся предложением Фриша и бывшему всегда, по совести, противником смертной казни, пришлось через четыре с половиной года подписать смертный приговор Желябову<sup>26</sup>, Петровской<sup>27</sup> и их товарищам и все-таки вызвать против себя упреки "за неуместную мягкость", выразившуюся в том, что он позволил уже признанным виновными подсудимым поговорить между собой на скамье подсудимых, покуда особое присутствие писало неизбежную резолюцию о лишении их жизни через повешение. А Фриш через пять с половиной лет, забыв свое многозначительное "щел-

кание", подписал журнал Комиссии по составлению нового Уложения о наказаниях, в котором приводились всевозможные доводы против смертной казни, и хотя она и удерживалась ввиду исключительных обстоятельств для особо важных политических преступлений, но мудрости Государственного совета коварно и лукаво представлялось разделить взгляды Комиссии и отменить смертную казнь и по этим преступлениям, а, идя со мною за гробом М. Е. Ковалевского<sup>28</sup> через шесть лет, он же доказывал, что казнь "мартистов" была политической ошибкой и что Россия не может долго существовать с тем образом правления, которым ее благословил господь... Tempora mutantur! (Времена, меняются.).

Демонстрация 6 декабря 1876г., совершенно беспочвенная, вызвала со стороны общества весьма равнодушное к себе отношение. Извозчики и приказчики из лавок бросались помогать полиции и бить кнутами и кулаками "господ и девок в платках" (пледах). Один наблюдатель уличной жизни рассказывал Боровиковскому 29 про купца, который говорил: "Вышли мы с женой и дите погулять на Невский; видим, у Казанского собора драка... я поставил жену и дите к Милитиальным лавкам, засучил рукава, влез в толпу и - жаль только двоим и успел порядком дать по шее... торопиться надо было к жене и дите - одни ведь остались!" - "Да кого же и за что вы ударили?" - "Да кто их знает, кого, а только как же, помилуйте, вдруг вижу, бывают: не стоять же сложа руки?!" Ну, дал раза два кому ни на есть, потешил себя - и к супруге..."

Но в истории русских политических процессов демонстрация эта играет важную роль. С нее начался ряд процессов, обращавших на себя особое внимание и окрасивших собою несколько лет внутренней жизни общества. Громадный процесс по жихаревскому делу еще только подготовлялся, а процессы о пропаганде, или, как они назывались даже у образованных лиц из прокуратуры, "о распространении пропаганды", велись неслышно, без всякого судебного "спектакля", в особом присутствии сената. Это были отдельные, не связанные между собой дела о чтении и распространении "вредных книг", вроде "Сказки о четырех братьях", "Сказки о копейке" или "Истории французского крестьянина", очень талантливо переделанной из романа Эркман-Шатриана<sup>30</sup>. В них революционная партия преследовалась за развитие и распространение своего "образа мыслей", в деле же о преступлении 6 декабря впервые выступал на сцену ее "образ действий".

Эти отдельные процессы не привлекали ничьего внимания, кроме кружка юристов, среди которых иногда ходили слухи, что первоприсутствующий особого присутствия с 1874 года сенатор Александр Григорьевич Евреинов<sup>31</sup> ведет себя весьма неприлично, раздражительно, злобно придинаясь к словам подсудимых и вынося не в меру суровые приговоры. Слухи эти были не лишены основания.

Сухой, изможденный старик, с выцветшими глазами и лицом дряхлого сатира, Евреинов представлял все задатки "судии неправедного", пригодного для усердного и успешного ведения политических дел. Я помню, что раз, летом 1875 года, я встретил его утром на Петергофском пароходе, шедшем в Петербург. "Вот еду судить этих мерзавцев, - сказал он мне, - опять с книжками попались, да так утомлен, что не знаю, как и буду вести дело. Вчера государю угодно было потребовать институток Смольного института в Петергоф, ну и я, как почетный опекун, должен был с ними кататься и всюду разъезжать, а потом после обеда в Монпле-

зир приехал он с великими князьями и приказал институткам танцевать, шутил, дарил им конфеты и т. д. Пришлось все время быть на ногах, а тут еще сам подходит ко мне и с улыбкой спрашивает: "А ты, старик, что же не идешь плясать?"

Я отвечаю: "Прикажете, государь, и я танцевать стану!" - "Нет, не нужно", - милостиво ответил мне он. А тут вот это дело - суди эту сволочь, - уж где мне после вчерашнего-то дня!"

Но как бы то ни было, процессы эти велись как-то особо от хода всей судебной жизни и нимало на нее не влияли. Совершенно иначе стало дело с 6 декабря. Во-первых, оно пошло ускоренным путем, ибо к нему уже был применен возмутительный в процессуальном смысле порядок, по которому дознание уже не обращалось к следствию, а прямо вело к судебному рассмотрению, то есть ставило человека на скамью подсудимых без предварительного исследования его вины компетентными лицами и узаконенными способами. Этот порядок был принят по настоянию Палена, которому наскучило долгое производство следствий по политическим делам и которому Фриш указал на 545 статью Устава уголовного судопроизводства, по-видимому, воздержавшись от указания на то, что отсутствие следствия в общем порядке судопроизводства связано с обсуждением дела в двух инстанциях по существу и с обвинениями, не влекущими даже ограничения прав состояния; здесь же дело разбиралось в одной инстанции и могло влечь за собой даже смертную казнь. Тщетно боролся я против этого явного нарушения основных начал уголовного процесса. Когда никакие словесные убеждения не помогли, когда Пален упорно стоял на своем, твердя на мои разъяснения, что нечего этим мерзавцам давать гарантии двух инстанций, и приказал, наконец, по уголовному отделению представить ему отношение к шефу жандармов относительно введения такого порядка, без сомнения для последнего очень желательного, - я написал ему письмо, в котором всячески доказывал вред и полную незаконность предполагаемой меры. Дня через два Пален, при моем докладе, сказал: "Я очень вам благодарен за ваше письмо, хотя я с ним все-таки не согласился и уже вошел в соглашение с шефом жандармов, но оно заставило меня еще раз обдумать вопрос, - быть может, я и неправ, но я вынужден на такую меру; все эти Крохты и Гераковы (члены палат, производившие следствие по политическим делам) надоели мне ужасно, я не хочу больше иметь с ними дела, а ваше письмо прикажу приложить к производству: пусть оно останется как след вашего протеста". Но я взял это письмо из дела и прилагаю к настоящей рукописи как один из многих знаков бесплодной борьбы за право и законность с этим тупым человеком.

Во-вторых, был назначен другой первоприсутствующий - Тизенгаузен<sup>32</sup>, человек живой и энергичный, и дело было扑щено уже в январе в зале заседаний окружного суда, при искусственно возбужденном интересе. Процесс окончился осуждением почти всех обвиняемых и в том числе в качестве главного виновного студента С.-Петербургского университета Боголюбова<sup>33</sup>, который был приговорен к каторге.

Процесс этот имел в числе своих последствий один трогательный эпизод. Вскоре по произнесении приговора, в числе прочих и над неким воспитанником Академии художеств Поповым<sup>34</sup>, личностью весьма мало симпатичною во всех отношениях, присужденным к поселению в Сибири, ко мне явилась девушка

калмыцкого типа, с добрыми, огромными навыкате черными глазами и румяным широкоскулым лицом - нечто вроде Плевако<sup>35</sup> в юбке - и принесла письмо от секретаря цесаревича, в котором тот просил от имени цесаревича удовлетворить ходатайства гр-ки Товбич. Так звали эту девушку. Ходатайство состояло в разрешении обвенчаться с Поповым до его отправления в Сибирь, так как она желала следовать за ним в качестве жены. Просьба была настойчивая и слезная, и контуры стана просительницы показывали, что эта настойчивость имеет свои основания. Я обещал выхлопотать разрешение у Палена, который не допускал прокурора палаты самого разрешать такие вопросы и вместе с тем просил Оома написать ему официальное отношение. Но у Палена я встретил неожиданный и яростный отказ. Он кричал, что это "все - девки!", что он не намерен "содействовать разврату" и т. п. Пришлось утешать слабыми надеждами Товбич, которая трепетала, как птица в клетке, и овладеть Паленом путем нескольких периодических атак. Наконец, он сдался на то, чтобы родителям Товбич, жившим в Екатеринославской губернии, было написано о желании их дочери связать свою судьбу с политическим ссыльным и испрошено их разрешение на брак, в даче которого Пален сильно сомневался. Я сам написал местному исправнику конфиденциальное письмо и вскоре был получен ответ с подписью родителей, которые заявляли, что дочь их уже давно живет самостоятельной жизнью, и что они не желают вмешиваться в ее выбор.

Это не удовлетворило, однако, Палена; он потребовал, чтобы местный прокурор лично объяснился с родителями Товбич. Ввиду болезненного состояния ее матери прокурор объяснился лишь с отцом и донес, что последний, зная силу привязанности дочери к Попову, не только разрешает ей брак, но даже просит ему не препятствовать, и "покровительство разврату" совершилось в тюремной церкви. Года через два я получил от Товбич-Поповой письмо из Якутска, в котором она писала, что родила сына, что они живут с мужем счастливо и совершенно безбедно... Товбич начинала письмо словами: "В некотором роде памятный мне Анатолий Федорович", а кончила короткой припиской: "Сына моего я назвала Анатолием".

Вслед за процессом по казанскому делу слушался в феврале 1877 года процесс "50-ти", подготовленный в Москве и обнимавший разные группы обвиняемых, искусственно между собой связанные по существовавшему в Москве методу соединять однородные дела в одно, придавая ему громкое название вроде "дело червонных валетов" и т. д. По делу "50-ти" судебное следствие велось очень бурно. Обвиняемые делали разные заявления резкого свойства, судьи теряли самообладание...

В воздухе носилась тревога и озлобление, и впервые новый суд делался ареной личных препирательств между судьями и утратившими доверие к их беспристрастию раздраженными подсудимыми. Многие из этих подсудимых выказывали полное равнодушие к ожидавшему их наказанию и лишь пользовались случаем высказать излюбленные теории и мрачно утопические надежды. Особенно потрясающее впечатление произвела своей энергией речь рабочего Петра Алексеева, и смущенный и растерявшийся председатель выслушал, не останавливая его, воззвание о скорейшем приходе того времени, когда мозолистый кулак рабочего сотрет с лица русской земли самодержавное самовластие и все гнилые учреждения, которые его поддерживают. На подобные выступления судьи отве-

чали явным проявлением раздражения и гнева и принимали невольно характер стороны в процессе, не могущей относиться хладнокровно к развертывающейся перед нею судебной драме.

И в этом, и в последующих процессах этого рода выдающуюся роль играл по своей придиличности и совершенно не судейской односторонности сенатор Николай Оттович Тизенгаузен. Он принадлежал к тем правоведам, которые, будучи возмущены самодурными выходками графа Панина 37, уходили в другие ведомства и, преимущественно в начале нового царствования, в либеральное морское министерство. Там пробыл он до самой судебной реформы и был, как говорили, сотрудником "Колокола" ("Колокол" - нелегальный журнал, издававшийся Герценом и Огаревым за границей с 1857 по 1868 год.) в его лучшие годы. Как бы то ни было, в правоведческом кружке он слыл за "красного". Но этот "красный" ввиду красного сенаторского мундира радикально переменил окраску. В 1877 году по рукам в Петербурге ходили "подписи к портретам современников" Боровиковского. К портрету Тизенгаузена относились следующие, к сожалению, справедливые строки:

Он был горячим либералом...  
Когда бы, назад пятнадцать лет,  
Он чудом мог полюбоваться  
На свой теперешний портрет?!  
Он даже в спор с ним не вступил бы,  
Сказал бы крепкое словцо  
И с величайшим бы презреньем  
Он плюнул сам себе в лицо.

Обвинителями в этих двух процессах выступали Поскочин и Жуков. В сущности, они вели себя порядочно, особливо в сравнении с тем, что пришлось впоследствии слышать с прокурорской трибуны. Поскочина, впрочем, обвиняли в каких-то инквизиторских приемах при дознании и даже сочинили по этому поводу целую скабрезную историю, мало правдоподобную и имевшую характер злобной клеветы. Относительно же Жукова случилось следующее довольно комическое совпадение. Он был запутан в долгах по горло. Для того чтобы спасти его имение от окончательной гибели, над ним была учреждена по высочайшему повелению опека, и указ о ней был напечатан в "Правительственном вестнике" в день начатия процесса "50-ти", так что некоторые из защитников, шутя, готовились протестовать против требований прокурора, если ввиду суда не будет на них согласия его опекунов. Во всяком случае было странно видеть обвинителем увлекающейся к увлеченной молодежи зрелого человека, не имеющего вследствие своего легкомыслия даже правоспособности к управлению собственными имущественными делами.

Судьи особого присутствия для этих дел назначались *ad hoc* (Для данного случая.) из наиболее "преданных" сенаторов. То же делалось и по отношению к сословным представителям. На месте городского головы, когда-то занятого в этих процессах, Погребова, вполне подтверждавшего слова Достоевского, что "на Руси люди пьяные - всегда и люди добрые, и добрые люди - всегда люди пьяные", прочно утвердилась темная личность одесского Новосельского, который тем горячее писал и проповедовал в петербургских гостиных (куда являлся вечно в вицмундире со звездою) о своей готовности "искоренять и карать", чем громче

раздавались в местной одесской печати толки о неблаговидных сделках одесского городского головы с английскими предпринимателями городского водопровода... В качестве губернского предводителя приглашался сначала нижегородский предводитель С. С. Зыбин. Сын богатых родителей, он в 1861 году, во время студенческих волнений в Петербурге, весьма либеральничал, ходил умышленно в грязном и разорванном платье, кипел негодованием при виде карет с красными придворными лакеями и подарил мне, как товарищу по университету, свою карточку, изображавшую его в рубахе, грешневике и высоких сапогах, со штофом и огурцом в руках... После закрытия университета он удалился в деревню, а в 1876 году камергер Зыбин явился к министру юстиции заявлять, что "если нужно", то он готов послужить отечеству в составе особого присутствия по политическим делам. Его услугами воспользовался Пален в течение целого года, но неосмотрительность канцелярии лишила его этого добровольца благонадежности. Летом 1877 года Зыбину было вновь послано приглашение принять участие в политическом процессе, но по ошибке на конверте он, особа IV класса "зауряд", был назван лишь высокородием; это его так оскорбило, что он возвратил приглашение "как не к нему относящееся" и написал обиженное письмо к Палену. Тот нашел, что Зыбин "*est trop difficile*", (Слишком тяжел, требователен.) и с тех пор в этих процессах стали появляться черниговский предводитель Неплюев и старая, но "твердая в вере" развалина - тверской князь Борис Мещерский.

Как характеристика того, из среды каких людей назначались судьи в особое присутствие, мне вспоминается вечер, бывший в феврале 1877 года у принца Ольденбургского для воспитанников и преподавателей учебных заведений, состоявших под его покровительством. На вечере был государь и, конечно, все министры. Государь был очень весел, играл в карты и, когда в зале раздались звуки мазурки, прошел, улыбаясь, среди почтительно расступившихся рядов в залу, удлиняя в такт мазурки шаги. В зале он, между прочим, подозревал к себе Палена и стал с ним говорить. В это время кто-то взял меня за локоть. Это был сенатор Борис Николаевич Хвостов, бывший вице-директор и герольдмейстер, фактотум и креатура Панина. "Как я рад, что вас вижу, - сказал он мне, - мне хочется спросить вашего совета; ведь дело-то очень плохо!" - "Какое дело?" "Да процесс "50-ти"... Я сижу в составе присутствия, и мы просто не знаем, что делать: ведь против многих нет никаких улик. Как тут быть? а? что вы скажете?" - "Коли нет улик, так оправдать, вот что я скажу..." - "Нет, не шутите, я вас серьезно спрашиваю: что нам делать?" - "А я серьезно отвечаю: оправдать!" "Ax, боже мой, я у вас прошу совета, а вы мне твердите одно и то же: оправдать да оправдать; а коли оправдать-то неудобно!?" - "Ваше превосходительство, сказал я, взбешенный, наконец, всем этим, - вы - сенатор, судья, как можете вы спрашивать, что вам делать, если нет улик против обвиняемого, то есть если он невиновен? Разве вы не знаете, что единственный ответ на этот вопрос может состоять лишь в одном слове - "оправдать!" И какое неудобство может это представлять для вас? Ведь вы - не административный чиновник, вы - судья, вы сенатор!" - "Да, - сказал мне, не конфузясь никаколько, Хвостов, - хорошо вам так, вчуже-то говорить, а что скажет он!..." - и он мотнул головой в сторону государя, продолжавшего говорить с Паленом. "Кто... Государь?" - спросил я. "Ax, нет, какой государь! - отвечал Хвостов, - какой государь? Что скажет граф Пален?!"

Весною, в конце марта или начале апреля, государь обратил внимание на увеличение случаев открытой пропаганды и приказал министрам юстиции, внутренних дел, народного просвещения и шефу жандармов обсудить в особом совещании меры для предупреждения развития пропаганды с тем, чтобы предварительно начатия совещания ему была представлена программа занятий гг. Палена, Тимашева,38 Толстого 39 и Потапова 40. Для выработки программы в свою очередь было условлено собрать каждому по своему ведомству выдающихся лиц и с ними обсудить и программу и меры. Задумано это было недурно, и если бы было честно выполнено, то могло бы привести к весьма серьезным результатам. Но какой-то злой гений тяготел над внутренней жизнью России, да и надежды, впрочем, на прямодушное и откровенное изложение перед государем всего, что было бы высказано на предварительных совещаниях, было мало. Самый честный между этими министрами был Пален. Он стоял все-таки выше своих товарищев по совещанию: бездушного и пустого царедворца Тимашева, злостного и стоящего на рубеже старческого слабоумия Потапова, всегда проездом останавливавшегося в Майнце, чтобы, как он рассказывал Палену, "показать язык статуе Гуттенберга", и злого гения русской молодежи - Толстого. Но и он был, прежде всего, типичный русский министр - не слуга своей страны, а лакей своего государя, дрожащий и растерянный перед каждым докладным днем и счастливый после каждого доклада тем, что еще на целую неделю ему обеспечена казенная квартира и услуги предупредительного экзекутора.

В четверг на страстной неделе 1877 года вечером, были собраны у Палена за круглым столом в кабинете: Фриш, прокуроры палат Жихарев, Фукс, Евреинов 41 и Писарев 42, правитель канцелярии Капнист<sup>43</sup> и я. Несколько позднее явился директор департамента Адамов 44 - толстый правовед, вскормленный департаментом, ловкий и отлично знавший языки исполнитель, человек без всяких убеждений, женившийся на чрезвычайно богатой дочери генерала Шварца и имевший вследствие этого до ста тысяч рублей серебром годового дохода, что давало ему право ненавидеть республику во Франции и сочувствовать роялистам, причем о той и о других он составлял себе, как сам выражался, понятие по своей любимой газете "Фигаро".

Пален начал с речи о том, что государю угодно знать, какие же, наконец, меры следует предпринять против пропаганды, и что он, Пален, желает знать наше мнение, ничего не предрешая, однако, заранее.

Первый стал говорить Евреинов, человек вообще весьма порядочный, несмотря на то, что общее увлечение политическими дознаниями и страстью "искоренять" захватило и его, приводя порой к предложению таких мер, которые сводили его к роли главы сыщиков, подсыпаемых в разные слои общества. Так, с 1876 года он просил министра юстиции снести с шефом жандармов о командировании в его распоряжение, с ассигнованием особой суммы, четырех сыщиков, которых можно было бы ввести в среду студентов, в среду европейской молодежи, в общество и. т. д., причем каждый из них должен был обладать соответствующим среде образованием и внушать к себе доверие. Эти лица должны были действовать по его непосредственным указаниям для раскрытия виновников бесчеловечного и ужасного обезображения Гориновича 45.

Я не дал этой бумаге хода, щадя достоинство прокурорского надзора... Но все-таки в среде "волкодавов", которые делали себе карьеру в то время, Евреинов